Содержание

Часть первая. ВОЛОВО

1. Костя 7
2. Олегыч 24
3. Хозяйка 40
4. Ведьма 62
5. Волово 75
6. Русалка 85
7. Козы 97
8. Гости 112
9. Волчица 120
10. Миша 129
11. Доля 138
12. Мистика 148
13. Оковы 153

Часть вторая. ГРАНЬ

14. Станция 179
15. Лидия 200
16. Волчок 227
17. Моцарт 242

18. Иванна 253
19. Грань. 262
20. Ксюша. 279
21. Авангард 290
22. Нина Николаевна 303

Часть третья. УБЕЖИЩЕ

23. Юрий Вешний 313
24. Николай. 339
25. Тьма 355
26. Столп 365
27. Убежище 372
28. Серафим. 388
29. Белый волк 409
30. Мир? 424
31. Белые перчатки 432
32. Парижанка 448
33. Агата. 459

Благодарности 470

Часть первая

ВОЛОВО

1

Костя

Во́лово всё казалось маленьким. Хмурые елки с зелеными матовыми стволами едва не перешагивали через штакетник. За забором двухэтажный «особняк» (так мать обзывала перестроенный отцом дом, и в ее кривой насмешке уже тогда намечался абрис их развода) сплющился, прижался к опушке, брюшком накрыл фундамент. Фасад был выкрашен в песочный, с крыши сползал последний снег, открывая новый, кирпичного цвета, шифер, отчего баня на задах выглядела дряхлой.

Кругом верещали птицы, от мартовских проплешин тянуло весной, вставало солнце. Порозовевший на рассвете снежный наст засы́пало хвоей. Дорожка к крыльцу, выложенная щебнем, уже подсохла.

Костя вздохнул, потянулся; по оголенной полоске живота под курткой пробежал ветерок. Схватился за ручку калитки, распахнул, вошел — и тут же съежился от рыка: тихого, власт-

ного. Медной масти пес, с бойцовой грудью, вислыми ушами и глазами, каждый с грецкий орех величиной, смотрел на него, будто спрашивая: «Зачем вернулся?».

Вот зверюга.

Пес встряхнулся, позвенел цепью, оскалился, двинулся прямо на Костю. Заслонясь рюкзаком, Костя всё отступал к калитке, к оставленному чемодану. И вдруг пес потерял интерес: отвернулся к крыльцу, умолк, завилял хвостом.

В дверях, наспех вытирая ладони вышитым кухонным полотенцем, показался отец, которого теперь все звали Олегыч. Пес словно по команде вернулся к будке. Уселся. Наблюдал. Олегыч спустился с крыльца прямо в тапках, подошел к Косте, приподнял чемодан одной рукой:

— Добра, смотрю, не нажил.

Отец. Всё у него — вот так. Но соскучился — точно: веер ласковых морщин разбежался из уголков глаз к беленым вискам. В последний раз виделись в Питере: тогда шевелюра его была чуть припыленная. Теперь — вся голова седая. Зато подсушился, окреп.

Вошли в дом. В длинном коридоре Олегыч поднял чемодан повыше над вымытым полом, мышцы на руках вздулись буграми. Костя даже позавидовал: он с детства был тощий, высокий, нескладный.

— Ты тут отжимался, что ли?

— Если бы... — женский голос, грудной, бесплотный, вырвался из кухни.

Сима. Костя и забыл, что она здесь.

Отец женился в другой раз. Точнее, съехался. Когда сообщал по телефону, добавил: «В загс не пойду, дом тебе останется. Ей не надо, у нее квартира своя». Ясно. То есть она с ним — по любви.

Сима обернулась от плиты. Низкорослая, с широкими бедрами и челкой, срезанной будто по линейке. Всмотрелась в Костину невыспавшуюся физиономию, скользнула по кофте с капюшоном, укороченным джинсам, веселеньким, по моде, носкам. Косте аж неловко стало за свой вид. Вот тебе и историк искусств.

Сима уже вернулась к вареву. Судя по запаху — картошка.

— Проходите пока в гостиную, — только и сказала.

«Вы тоже мне не нравитесь», — хотелось ответить Косте, хотя это была неправда. Просто здесь всё еще тянет огрызнуться, как в детстве. И потом — мать...

И внешне, и по рассказам отца, Сима — ее полная противоположность. Мать — сухопарая, с породистыми скулами и идеальной лепки носом (как говорят скульпторы). Она изредка готовила омлеты и супы, мясом всегда занимался отец, а уж картошку — вовсе не жаловала: «В де-

вяностые наелась, спасибо». Сима была заправской хозяйкой. И теперь от нее веет домом, будто это они с отцом у нее в гостях. Наверное, и новый запах, пропитавший стены прихожей, — ее.

Выходя из кухни, Костя обернулся. Сима подняла нож и что-то рассматривала на лезвии, на миг показавшись врубелевским Серафимом. Даже глаза мачехи заволокла та неземная дымка. Костя встряхнул головой. Нет тут никакого Врубеля. Это обида за кафедру туманит мозг и не отпускает давно завершенная диссертация. Но все-таки эта женщина себе на уме.

В гостиной всё с тем же ковром, плюшевыми креслами и диваном в коричневых разлапистых цветах пахнет детством. Деревяшками. Косте полегчало. Разве что в бабулиной комнате на первом этаже теперь спят отец с Симой. И на окне нет больше маминых кактусов, но утешает привычная еловая глухомань за стеклом. У старой бани, наконец, скошены вековые заросли крапивы, и всё равно ее за малинником — едва видно. Да вот еще — собачья будка во дворе в новинку. Ну и сам пес, конечно. Он теперь отдыхал, разлегся, устроив могучую голову на передних вытянутых лапах.

— Мишу не бойся. Он тебя не тронет, — Олегыч уселся в кресло и переключал телеканалы пультом. — Сима его сперва покормит, потом уж нас с тобой. Он заслужил.

За окном показалась Сима с ведрами. Миша поднялся, потряс цепью и принюхался. А ведь и впрямь — теленок, а не собака.

Только сейчас Костя обратил внимание, что на крюках за дверью висят две волчьи шкуры.

— Браконьеришь?

— Численность регулирую. Расплодились...

Костя подумал: шутит, наверняка это трофеи за двенадцать лет. Похвалиться вывесил.

— У тебя прохладно в комнате, протопить не успели. Пол пошмурыгали маленько, шкурой прикрыли. Летом уберем, доски покрасим. В какой цвет?

«Шкурой» отец называл что угодно: от ватного одеяла с простеганным пестрым засаленным верхом до старой маминой шубы из ондатры. Мех был колкий, игольчатый. Мать в ней словно ель смотрелась, хоть игрушки вешай. С собой она шубу не забрала.

Родители развелись, едва Костя поступил на «Историю искусств». Съездили в Питер с матерью, увидели списки, вернулись — втроем отметили зачисление. За домом, во дворе, отец жарил шашлыки.

А на следующий день, когда собрались доедать разогретое мясо, Костя узнал, что семья распалась. Родители говорили до того спокой-

но, точно читали завещание почившего прадеда, для которого смерть, как для них развод, — закономерное дело.

Мать уезжала в Казахстан, собиралась снова замуж — за давнего друга семьи, дядю Айбата. Отец оставался на хозяйстве. Костя с сентября перебирался в общагу. Будто все они вдруг повзрослели, не только он. «В историки метишь? Ну и относись как к истории. Этап пройден», — отец всегда скупился на слова, но был Косте ближе матери. Как у него это получалось?

Когда Костя уезжал, мороз уже 1 сентября ударил. Стужа прибила траву. У старой бани кустилась поздняя малина: заиндевелые ягоды, оттаивая на рассвете, превращались в кашу. «Птицам оставлю», — буркнул отец. Костя поправил лямки рюкзака, тянувшие плечи, наспех клюнул отца куда-то в лоб. На крыльце кроссовки чуть скользнули по белесым досочкам. Сбежал по ступенькам, споткнулся о булыжник, скрипнул калиткой. Припустил на электричку.

На станции, переходя пути по настилу, поехал резной подошвой кроссовки куда-то вбок, но устоял. И вот уже топтался на платформе, тяжело дыша, оставляя свое детство «истории». Серая точка вдали показалась похожей на отца. Да ну... Простились дома. А если что забыл, мог бы и позвонить.

Вдали засветился фонарь электрички. Со свистком к платформе подкатили закопченные зеленые вагоны. Люди, поеживаясь, втаскивали себя в тамбуры. У заспанной малявки едва не сломали букет: гладиолусы белые, как и ее колготки.

Костя, занося ногу на приступку, вдруг страшно захотел остаться. Ну, чего там может быть важного 1 сентября? Знакомство с группой, с куратором, с преподами. Ключ дадут от комнаты общажной тем, кто заранее не сподобился приехать, койку занять. Можно «приболеть»: в городе к заразе особенно снисходительны, как у них в Волово — к алкашам; дома сиди, пока в себя не придешь. Короче: и завтра приехать можно. А так, выходит, отец один останется.

Тут женщина сзади уперлась в его рюкзак ладонями, впихнула и себя, и Костю в тамбур. Едва успел голову наклонить, не то бы лоб расшиб.

Расселись. Тронулись под шершавое объявление следующей станции. В заржавелом по краю вагонном стекле Костя увидел кучку людей на путях. Стало не по себе. Собравшиеся что-то поднимали.

— *Чумодан* уронили! — пропищала та первоклашка, покачивая букетом.

Наверное, из тех баулов, что отец называл «хоть сам ложись». Подразумевал ли он проезд

зайцем в багаже или гроб, Косте не приходило в голову спросить. Усмехнулся, набрал отцу — недоступен. Ясно, в лесничество ушел. Вчера еще ружье начищал, Косте дал пару выстрелов сделать. Ружье старое, тугое, вроде трехлинеек столетней давности в охотничьей модификации, зато управляется бесхитростно. Костя промазал, конечно.

До самых «Дубцов» Костя в мыслях видел отца осунувшимся и рыхлым. Ковырял ключом от дома ржавчину на окне, пока первоклашкина мать не одернула его двойным покашливанием. Костя почувствовал себя ребенком — и решил взрослеть.

С тех пор он дома не был почти двенадцать лет. Как-то всё закрутилось, завертелось. Учеба, репетиторство, магистратура, практика, работа, аспирантура, кафедра...

Альберт Модестович (Мольберт), завкафедрой русского искусства XIX и XX веков, моментально влюбил в себя: «Искусство — вот наша религия». Потом Костя узнал, что так, по воспоминаниям сестры, говорил Врубель.

Профессор обратил на Костю внимание уже на первом курсе, когда после занятий водил студентов в Корпус Бенуа Русского музея, точно в парк гулять. Так и говорил: «Пойдемте все-та-

ки подышим». И там, в залах, увешанных полотнами, даже не читал им лекций — комментировал, скорее, и просил смотреть на холст долго, не отводя глаза.

Картины («объекты исследования») студенты выбирали сами. Тогда был очередной всплеск интереса к мирискусникам, авангардистам, Гончаровой и Ларионову. В технике Ларионова было всего по чуть-чуть, ну а больше — эпатажа, на котором, уверял студентов Мольберт, можно взлететь быстро и высоко, но держаться на вершине будет уже не за что. Разве что ларионовской «Осени счастливой» профессор симпатизировал, да вот его любимая «Синяя свинья», увы, висела не у нас, а в Центре Помпиду, в Париже. Эстеты всегда уважают что-то редкое, незавершенное или утраченное.

Костю эпатаж всегда раздражал. Даже одевался он, за исключением пестрых носков, нарочито скучно. Отвергнутая им сокурсница наградила эпитетом: «Ты какой-то, даже не знаю, дремотный!».

То, что пряталось за его дремой, воплощал Врубель. Переливчатые миры с демонами, сиренями, серафимами, русалками — суть Костиных грез, нахлынувших еще в Волово...

Мольберт в Корпусе Бенуа задерживался лишь возле Врубеля. В зале №66 они с Костей подолгу стояли бок о бок — присматриваясь

не столько к «каменистой» живописи, сколько друг к другу. Высоченный, слегка кривоносый Костя — и изящный, седовласый, низенький Мольберт.

— Представьте, Костенька, — в одну из апрельских прогулок растопил-таки лед профессор. — Если выдернуть сосну у Шишкина, будет лишь на одну сосну меньше.

— Еще медведи попадают, — сострил Костя.

— Не в этом дело. А вы попробуйте мысленно богатыря врубелевского свалить, — и отошел.

Костя попытался. Сразу же небосвод с закатными павлиньими всполохами рухнул. Раздавил и силача, и его широкогрудую лошадь, и елки, по которым те шествовали, как в сказке: выше леса дремучего. Костя сглотнул. Обернулся. Увидел в серых глазах профессора, сохранивших черный кант ресниц, торжество.

— Во-о-от! — Мольберт кивнул. — Что я вам пытаюсь вдолбить: цельность, слитность. Врубель знал, что всё в мире — связано. И, что важнее, сумел показать.

От «Утра», висевшего на соседней с богатырем стене, Костя старательно уворачивался. Даже соглашался с критиками в том, что это врубелевское панно несовершенно, — лишь бы не погрузиться в свои собственные давние грезы. Но боковым зрением отмечал русалок, скрытых

в зеленых и лиловых всполохах, предрассветную дымку, дикий пруд. Даже если в зале было шумно, Костя слышал *ее* голос.

Никто не удивился, когда темой Костиного диплома стал Врубель. «“Шестикрылый Серафим” как метафора творческого пути художника нового времени». С кинжалом, лампадой, хлыстом, опаленный высшим светом, он просто ведет за собой. Перешагнув собственных демонов, переборов смерть трехлетнего сына, Врубель и в сумасшедшем доме рисовал, прозревая будущее на добрые полвека. Кто видел его «раковины» или того же «Серафима», написанного в клинике Сербского, — подтвердит: художник пережил человека, вышел за грань, как мечтали символисты.

Костя, начавший работать ассистентом, затем преподавателем на кафедре, интересовался и финальными, экстатическими образами Врубеля. «Наш Михаил Александрович», как называл его Мольберт, неизменно возвращал Костю к теме пророка. «Видение Пророка Иезекииля» — последняя работа, вся из штрихов, тающих пятен цвета. Цитируя Пунина, Мольберт утверждал: произведение закончено, кто бы что ни говорил, потому что как иначе «заставить формы говорить там, где они могут только рассыпаться и тлеть». Косте чудилось в картине бессилие, ощущение густой тьмы, что вот-вот

разрядится. Катастрофой? Светом? Судьбой? А пророк здесь — вестник? Демон?

К кандидатской диссертации, PhD, Костя сосредоточился на «Шестикрылом Серафиме». Мотался то в Третьяковку, то в Абрамцево. Чудом успел собрать материал до ковидных ограничений. Получив грант, съездил и в Киев, к истокам. Там, среди отголосков Византии, постигая иконопись в храме Святой Софии, Врубель обрел свою технику. Одними лишь красками, короткими сочными мазками восстановил трех мозаичных архангелов под куполом — и до сих пор зрителю не отличить, который из четверки исходный.

Прошло три года — а Косте всё казалось: чего-то он о «Серафиме» не знает. Точнее, картина знает о нем больше него самого. Мольберт говорил — значит, образ еще Косте явится. Сам он изучал врубелевский «Автопортрет с раковиной» — и порой, смотрясь по утрам в зеркало, видел в отражении удивленно-разочарованного Михаила Александровича, и слева — ясный перламутр.

Готовясь к защите, Костя едва успевал отбывать положенные часы на кафедре и отрабатывать репетиторство, чтобы платить за жилье. Он думал, что когда-нибудь купит квартиру, обоснуется в Питере. Поближе к Мольберту, к искусству. Впрочем, профессор предостере-